

## ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

А потом стало темней.

Деревья, наклоняясь к дороге, казалось, несли с собой сумерки. Был только шестой час вечера. Совсем недавно ввели зимнее время, но кроме быстро растворяющегося дня никаких признаков осени, а тем более зимы, не было.

Синяя лента асфальта легко убежала вперед и вниз - это было единственное светлое пространство. Дорога тянулась между склонами гор, на которых стояли разлапистые ели и лохматые сосны. Я подумала, что ветки елей похожи на облезлые собачьи хвосты, и почему-то усмехнулась сравнению. Где-то высоко, сквозь деревья, мерцали редкие огни - говорили, там находятся правительственные дачи.

Я глубоко вдохнула. Здесь всегда хорошо дышалось, и я почувствовала, как вечерний воздух заполнил легкие до самых краев, покалывая что-то внутри. Я приложила ладони к щекам. Они были холодными, как яблоки, и такими же тугими. Мне захотелось убедиться, что и румяные они, как яблоки. Я достала зеркальце, взглянула на свое отражение и ничего не увидела, кроме лилового куска неба.

Мимо со свистом проносились машины - это возвращались из Цкнети, где находились наиболее престижные дачи. Пешеходов, вроде меня, тут не было, и я подумала, что поступила глупо, так поздно выйдя в дорогу. Уже несколько дней в городе постреливали, а про окраины вообще рассказывали ужасы.

Я только что закончила первый рассказ. Чувства так переполняли меня, что я не в силах была усидеть. Собрав перепечатанные листы, я закрыла дверь на ключ и спустилась к остановке.

Хотя разумнее, наверное, было бы остаться в Багеби, в одной из комнат общежития, которые занимали мои братья. Это был университетский студгородок, расположенный на окраине Тбилиси среди гор, холмов и хвойных деревьев.

Братья сейчас были в отъезде. Время от времени я ходила проводить их жилища - крохотные квадратики комнат, конечно же, не приспособленные для семейного жилья. И когда я видела детские платяца, висящие на плечиках, закатившийся под кроватьку резиновый мяч или игрушечный самосвал, застывший посередине комнаты, чувство умиления охватывало меня. Я уже скучала по своим племянникам, вспоминала их ликующие возгласы, живой блеск глаз, напоминавший и папу, и тетю, и мою сестру... И даже себя в детстве, - словом,

природа намешала всего, а в целом, это были вполне самостоятельные люди.

Да, умнее было бы остаться. За захватившей меня работой я упустила из виду, что второй день маршрутки не работали - говорили, из-за бензина. К ним присоединились автобусы. И только набухшие троллейбусы, пыхтя и отдуваясь, перевозили людей в городе.

От студгородка до круга, который в транспортных вывесках обозначался, как собственно Багеби, ничего, кроме маршруток, не ездило.

Я послонялась по пустой остановке. О том, чтобы возвратиться назад, в тесное замкнутое пространство, не могло быть и речи. И, не зная, как совладать с захлестывающей меня радостью, я решительно пошла пешком, думая о написанном.

Рассказ писался нелегко. Я разучилась писать бездумно, как в газете, а по-другому еще не научилась. И при первой же остановке бегущих как бы самих по себе строчек, начинала томиться и подумывать, как бы вырваться из тягостного плена.

Рассказ даже как-то приснился мне. Он походил на желто-коричневую гору. Осыпающаяся под ногами земля. Сухой треск уползающих кусков, и вот они летят вниз, вниз...

Провожая этот землепад взглядом, держась за крутизну возвышающейся горы, и опять с тяжелым сердцем оборачиваюсь к ней. Я знала, что эту высоту обязана преодолеть, и знала будто, что это – рассказ, который я должна написать.

Но стоило бросить работу, как меня охватывало беспокойство. Я не находила себе места. В голове вдруг возникали готовые словосочетания, предложения. Я торопливо записывала то, что диктовалось изнутри, недоумевая - что же это такое могло означать?

Когда это произошло в первый раз, то, перечитывая написанное, я вдруг почувствовала, как сладкая волна мягко стукнула в сердце - было найдено главное во внешнем облике моего героя. И я, оказывается, мучительно соображала - как передать это чувство словами.

Я поняла, что мне от рассказа не уйти, и тогда сложила листы в виде записной книжки, раскрывая их при каждом удобном случае. Держа ручку на весу, как бы нацеливаясь на точный удар, я все медлила, медлила, обдумывая. Хотя нельзя было назвать это обдумыванием. В мозгу вспыхивали какие-то ассоциации, потоки слов, образов, а я держала ручку, как ловец бабочек, отрешенно, казалось бы, держит сачок, чтобы в нужный момент точным взмахом накрыть прилетевшую красавицу.

Испуганное трепыхание бабочки, в случае удачи, передавалось сердцу, которое начинало радостно стучать у самого горла. Я перехватывала его ладонью, боясь, что оно вот-вот выпрыгнет из меня.

Я не писала все подряд, подобно стрелку, посылающему выстрелы без разбора - авось, какой-нибудь, да попадет в цель.

Нет, я долго прицеливалась, а потом стремительно выписывала предложения. Слова не успевали за ручкой, ручка - за мыслью, буквы налетали друг на друга, валились на бок, вылезали на поперечный край полей.

И на другой день я с интересом разбирала эту свалку слов. Вытаскивала из-под обломков нужные предложения, постукивала вытянутыми словами друг о друга, стряхивая, как пыль, лишние прилагательные, протирала междометия, очищала знаки препинания. И ставила это надраенное богатство в абзац, который начинал блеснуть, как вымытые окна у хорошей хозяйки.

Это была увлекательнейшая работа!

Но, правда, до этого нужно было вспахать первый пласт нетронутой целины - переплавить подсознательные чувства и убегающие мысли в конкретные слова и предложения.

Еще надо было ухитриться, чтобы при разборе не потерялось то, что Маршак называл "веселый жар черновика".

Но когда уже в стройных и сверкающих рядах предложений поселились точная мысль и вольный дух - я была счастлива.

Рассказ получился чистым, свежим, с ясными глазами, как у моего героя. Это был красивый ребенок. Он еще был рядом и нуждался в моей близости. Мне не терпелось прийти домой и, разложив перед собой листы, разглядить их, как гладят ребенка по голове, получая удовольствие.

И в то же время рассказ был, как вещь, любовно выкованная. Я постукивала по готовому изделию, прислушиваясь, - нет ли трещин? - и с радостью слышала в ответ чистый звон.

Но, на удивление, рассказ перехитрил меня. Он вырос совсем не таким, как думалось.

Я хотела рассказать о мессах, о вековой тайне народа, которая составляет его силу и объединяет.

Рассказ же вырвался из рамок и, резво подпрыгивая, побежал совсем в другую сторону. Он сам себя писал. Я еле поспевала за ним. А когда догнала, оказалось, что возвращаться было поздно. Да и не нужно. Но тайна так и осталась тайной.

Все это чрезвычайно изумляло меня. Я не знала, как к этому относиться.

Что ж, о месхах придется написать другой рассказ, подумала я. Или другие. Это уж как получится, привычно споря с собой, поглядывала я по сторонам. И не заметила, как совсем стемнело.

Пришлось остановиться - кажется, я заплутала. Деревья стояли молчаливым окружением, и меня постепенно начал охватывать страх. Я уже чувствовала его покалывающий холодок, подбирающийся к сердцу. Вокруг застыла тишина.

Пытаясь стряхнуть оцепенение, я повертела головой в поисках какого-нибудь ориентира. Кругом была темнота. Я шагала почти на ощупь. Только сбоку, далеко через ров, тоненько дрожали ручейки огоньков, образуя очертания многоэтажных домов - новый массив под названием плато Нуцубидзе. Этих плато там было множество - искусственные многоярусные площадки без единого деревца, утыканые "точечными" многоэтажками. Издали, а особенно днем, это было красиво - они смотрелись в молочной дымке, как белые корабли, выстроившиеся на парад.

Вечно ты выдумываешь, сказала я себе. Что тебе не нравится? "Белые корабли" - вот что мне не нравится. Разве это не красиво? Красиво, но не точно. Ну, хорошо, скажи точнее. Пожалуйста - "белые костяшки домино, поставленные вертикально". Но это сравнение неустойчиво. Сравнение-то как раз устойчиво. Это дома неустойчивы. Разве ты не помнишь, как сильно раскачиваются они в ветреный день? Кажется, вот-вот хлопнутся плашмя. Ну, хорошо, будь по-твоему - "белые костяшки домино, поставленные вертикально".

Где-то там была Шурина квартира. Я приободрилась и попыталась глазами отыскать этот дом. Мне вспомнилась Шура, ее бесконечная доброта, ее помощь нам, месхам.

Многие благодарили ее за книги, теплые вещи или продукты, которыми она, не задумываясь, снабжала первого нуждающегося встречного. Шура обычно страдальчески морщилась: "Ничем другим не могу помочь". У нее было повышенное чувство вины перед соплеменниками: люди оторваны от родины, бедствуют, а грузины сидят, сложа руки. Хотя она явно преувеличивала свою вину. Если бы не было участия в нашей судьбе многих и многих грузин, многие из нас не жили бы здесь.

Но Шура мечтала, чтобы все месхи жили в Грузии. И в этом мы были с ней солидарны.

Как-то вечером она позвонила и, едва сдерживая волнение, сказала, что на вокзале сидят на вещах ферганские беженцы.

Мигом прибежав туда, я поднялась в зал ожидания. Среди массы людей, заполнивших, как обмякшее тесто, все кресла и сидения, я безошибочно узнала их - они сразу притягивали мой взгляд, как свое, родное.

И тут же со щемящим чувством отметила - месхи превращаются в бродячее племя.

Земледельцы от Бога, не приспособленные ни к чему другому, кроме как к крестьянскому труду, в который раз они насильно были оторваны от земли и брошены в никуда...

Да, они смогли приспособиться! Месхи узнали географию не только по карте. Потом они стали хваткими, быстро ориентировались в обстановке, научились зарабатывать деньги не только за плугом. Они стали людьми мира...

Но многое было потеряно. Пропадала крестьянская обстоятельность. Исчезал наивный взгляд доверчивых глаз - а как дорог он мне, этот чистый взгляд, который я узнавала среди тысячи других!

Цыгане поневоле, они стали недоверчивыми, презирали людей и власти, хитрили. У них появилась небрежность в одежде и убранстве дома, что раньше в этой среде было совершенно недопустимым. Так как народ был рассеян, месхов объединяла семья, а не земля и нация.

И там, где был крепкий глава клана, все шло по-старому: основа жизни - это ежедневный, кропотливый труд, где каждый четко включался в неизменный круг обязанностей и твердо знал свою отведенную меру труда и свободы.

Но там, где ослабли рычаги патриархального уклада, происходила трансформация понятий. Ценности утрачивались, деньги развращали и расслабляли.

Да, я их сразу узнала. Молодые женщины сидели с младенцами на руках, в висящих одеждах, обложенные цветными узлами. Вертелись дети. Изваяниями сидели ссохшиеся старухи, мужчины обреченно кружили возле узлов.

Эти люди приехали из Азербайджана. Там они надеялись приютиться после Ферганы, но до осени им так и не удалось устроиться. Теперь они ехали в Белгородскую область, в глухую деревню, где в округе на сорок километров никого не было, в российский климат, который вызывал у них, раздетых, ужас. Именно туда их забросило правительство, спасая от резни узбеков, но обрекая на холод и нищету.

В Тбилиси они были проездом. Обстановка в Грузии была неприятная и накалена против месхов больше обычного. Вялые отговорки властей принять месхов на родину сменились разъяренными речами о "грехах" "турков-месхетинцев" против грузинского народа. Ферганские события трактовались, как провокация Кремля. На митингах кричали - Фергана нужна была для того, чтобы заселить нашу землю турками. Турки въедут в Грузию на танках и уничтожат наши духовные и материальные ценности. Ни одного турка на грузинской земле! Поэтому беженцы боялись быть узванными и переполошились, когда к ним подошла Шура.

Она пришла с сыном - притащила целый тюк теплых вещей. Прозрачный целлофановый пакет был набит дефицитным мылом, который вызвал ажиотаж у вокзальных жителей. Шура раздала детям яркие книжки на грузинском языке. Передала старику - главе семьи - пачку денег. Деньги она вручила как-то неловко и стыдливо улыбаясь, словно извиняясь.

Старик же принял все это спокойно, с достоинством, без угодливости и торопливых кивков. Молодые женщины никак не отреагировали на это приношение - они были в какой-то прострации. По-моему, они вообще не поняли, кто мы такие и откуда свалились им на голову. Только мужчины деловито рассовали Шурины подарки и, пытливо поглядывая на нас издалека, старались определить, что мы из себя представляем.

Не меня выражения лица, старик рассказал, как подожгли их дом, как все они сбились в дальней комнате. Помогла только добротная кладка, она и выдержала огонь до ночи. А когда погромщиков сморил пьяный сон, вывели их соседи-узбеки, благодаря которым - слава Всевышнему, они остались живы.

Но он заметно оживился, когда доставал из внутреннего кармана какие-то документы. Негнущиеся пальцы сухо шуршали по бумажкам. Старик плюнул себе на пергаментные пальцы и вытащил нужную.

- Главное, это осталось целым! - с гордостью сказал он, показывая нам какие-то полустершиеся листки, сложенные книжечкой.

Это было свидетельство о рождении.

"Мамукадзе Мурад Чахалович. Родился в 1925 году в селе Ацкури Ахалцихского района", - прочитала Шура грузинскую надпись, и глаза ее увлажнились.

- Самая большая ценность, - сказал старик, ревниво поглядывая, бережно ли мы держим книжку.

- Я сумел сохранить свою фамилию, а это главное, - продолжал он. - Что, мало мне узбеки говорили - что это за грузинская фамилия у тебя? Смени, говорят, фамилию, ты - турок, ты наш брат, мусульманин, зачем тебе эта Грузия, которая не принимает тебя и не признает за своего?

А я сказал: не-е-т!.. Да, я мусульманин, чту Аллаха - хвала Всевышнему! - но никто не заставит меня отречься от своей земли.

Грузия - моя Родина. Я ее сын. Вы скажете - мать, а не признает своего сына? Да. Но я верю - откроются у нее глаза, и прояснится ее взор.

А кто узнает меня, если лишусь фамилии? Я Мамукадзе из Ацкура!.. И они тоже, - он обвел рукой свое семейство. - И по фамилии Родина признает нас.

Я слушала старика, словно листала знакомую книгу, я сама была одним из бесчисленных ее персонажей.

Шуре же многое было впервой, и она обливалась слезами, промокая глаза скомканным платочком.

Старик осторожно взял из наших рук свое свидетельство и засунул его опять за ворот телогрейки.

Как безродный сирота с гордостью показывает всем материнский медальон - смотрите, не сирота я, вот моя мать - самая красивая и благородная женщина, она скоро найдет меня, вот увидите! - так и старик показывал нам свою ветхую метрику.

Но не признаёт мать своего сына.

- Прочь, несчастный! - злобно кричит она. - Как ты можешь быть моим сыном, когда не знаешь ни моего языка, ни моей веры! Ты так груб и неотесан, твои черты говорят о низком происхождении. Прочь, азиатское существо!..

- Мама!.. - рыдает сын. - Неужели ты не узнаёшь меня? Да вот... - захлебываясь слезами, он торопливо достает материнский медальон, - ты же сама мне его дала, чтобы я не забыл себя. Посмотри, это же твой медальон!..

Чем вызывает новый взрыв негодования.

-Что?! Откуда у тебя мой медальон? А-а-а, ты украл его! Мало того, что ты лгун, так ты еще и вор! Сейчас же отдай его, несчастный!

- Что это за мать такая? - говорят свидетели сцены. - Как держит ее земля? И почему не накажет ее небо за злобный пинок в родного сына?

- Ни слова больше! - протестующе поднимает руку сирота. - Вы ничего не знаете. Моя мать лучше всех. Но она больна... - печально говорит он. - Если бы я смог помочь ей...

Да, вот кто первым прочтет мой рассказ. Шура. Надо будет позвонить ей. Но нужно найти дорогу.

И, цепляясь за шершавые сосны, я пересекла зигзаг дороги, утопая в мягкой земле, чтобы быстрее выбраться из темноты. Должен же быть где-то город!..

Кажется, это кладбище. Мне стало спокойнее - души умерших, скорее, защитят меня. После смерти папы я перестала бояться мертвых.

Да, вот оно, началось. Я быстро поднималась к последней высоте, бросая взгляды на четкие очертания монументальных надгробий и серое кружево могильных решеток.

Впереди обозначились три светлые фигуры. Шагом опытного ходока я обогнала их. Это были две женщины - пожилая и молодая. С ними был мальчик. Он оглянулся на меня с живым интересом, и я увидела, как блеснули его глаза в темноте.

Они спустились по тропинке с кладбища, которое возвышалось слева, и все не кончалось, несмотря на быструю ходьбу. Это считалось престижное кладбище, вроде Новодевичьего в Москве, как, впрочем, и все расположенное в этом районе - Ваке, который начинался уже отсюда.

Наконец-то я с облегчением увидела вечерний город. Троллейбусные провода внизу взрывались бенгальскими огнями, сияли окна домов, колокольчиками свешивались матовые фонари.

Я оглядела все сверху, еле сдерживая себя. Мне захотелось крикнуть с этой высоты что-то значительное. Или же обнять все вместе: и эти троллейбусы, и фонари, и даже молчаливую Мтацминду с цепочкой огней, поднимавшихся к ее вершине.

Я хотела обнять всех людей вместе и каждого в отдельности, жадно выслушать их бессвязные речи, утереть их слезы и утешить.

Я еще не ведала, что все это - радость творчества. Что потом, на смену взлету, придет слабость донора, отдавшего свою кровь новорожденному рассказу.

Я буду потом беспомощно лежать, прислушиваясь, как снова наполняются живительной силой воды моего глубинного родника.

И я бессознательно думала о мальчике, что оглянулся на меня. Чью могилу они посетили? Возможно, деда. Я представила, как

мальчик, резвясь, бегал между гранитными надгробиями и думал о дедушке легко, безболезненно.

А если могилу отца? Эта мысль ужалила меня. Женщины шли притихшие, может, так оно и есть? Тогда мальчик, наверное, бессмысленно смотрел на плиту, сцепив сзади руки. Он не понимал, какая связь между его живым отцом и этой холодной глыбой.

Потом он, наверное, вспомнил, как отец лежал в гробу, и этот страх непонимания охлаждал душу. Куда ушел отец? И почему?

Но мне хотелось, чтобы мысли мальчика были о дедушке. Чтобы весь этот леденящий ужас не заполнил душу ребенка так рано.

А вот и желанный круг внизу.

Отсюда можно сесть на 9-й троллейбус, и он довезет меня до проспекта Давида Агмашенебели. Хотя по привычке все называли эту улицу Плехановской, а совсем старые люди, не признающие никаких новшеств, своим первым именем - Михайловской - в честь великого князя Михаила. Эти же люди называли площадь Карла Маркса просто "Воронцов", и так же мост, примыкающий к ней. Да, именно в честь графа Воронцова - царского наместника на Кавказе - назывались и площадь, и мост.

Хотя, если подходить строго исторически, то просто в строительстве моста, как и многого другого в Тифлисе, он принимал живое участие, а благодарные горожане стали употреблять применительно к ним имя графа.

Кстати, на этой же площади стоял и памятник наместнику. Может, поэтому площадь называли его именем - как место пребывания его сиятельства? Правда, позже, как здесь говорят, "при большевиках", памятник снесли. А название осталось.

Нет, пожалуй, "Воронцов" говорили все - от старушек с аккуратным уложенным реденьким пухом волос, заколотых старинным гребешком, сжимающих в бледно-морщинистых ручках вытертый бархатный ридикюль, до изящных юношей - аккуратно подстриженных, в начищенной до блеска обуви (непременные атрибуты тбилисского щегольства).

Все они выкрикивали в окошки пронесившихся мимо такси: "Воронцов!" и ни у кого не возникало вопроса - а, собственно, что это - "Воронцов"?

Именно там, в старом районе города, в кирпичном особняке, окруженном развесистыми липами, находилась моя квартира, обмененная на ереванскую, которая, в свою очередь, была обменена на

новгородскую, полученную, когда после окончания Ленинградского инженерно-строительного института я месила грязь на сооружении гигантского химкомбината, командуя бригадой "зэков", и обучала новгородских студентов строительным дисциплинам... - но это совсем другая история.

В Ереван поехал 82-летний дядя Захар со своей женой Сатеник, которая тайком от него, говорила нам с мамой: "Это не Захар, это сахар!.." - и улыбалась при этом.

Она рассказывала, как слова эти впервые услышала в тот день, когда товарищи молодого Захара по работе пришли сватать молоденькую же Сатеник, и как после слов о сахаре, которыми они хвалили Захара, она зарделась и убежала в другую каморку подвального помещения, где жила у дальних родственников почти на положении прислуги.

Оба они - и тетя Сатеник, и дядя Захар - были турецкими армянами. Их родители в 1915 году бежали от резни. Кто-то побегал в Армению, а кто-то - в том числе и они - в Грузию.

Тетя Сатеник иногда переговаривалась со мной на турецком языке, которому она научилась у своей матери, и это нас как-то сближало, хотя знакомы мы были совсем недолго.

Они не хотели уезжать - вся их жизнь прошла в Тбилиси. Здесь они поженились, вырастили детей, состарились. Все их дети, внуки, а потом и правнуки постепенно переезжали в Ереван, и, наконец, они остались в этом городе одни.

И хотя сложный механизм обмена нашими квартирами был уже запущен, дядя Захар, часто вздыхая, говорил: "Не люблю я этих армян, Клара-джан! Грузины - совсем другое дело. Такие мягкие, сердечные люди. Они такие гостелюбивые - да вы скоро сами увидите.

Армяне же - а ереванские особенно! - совсем не то. Я им все время говорю: вы такие же черствые и твердые, как ваши камни!.."

Несмотря на возраст, дядя Захар был стройным и худощавым, с нежным старческим румянцем на щеках. Он так лихо бегал по горбатым тбилиским улочкам, что я еле попевала за ним.

Но глаза его уже подернулись мутной влагой, и глядел он иногда уже издалека, думая о чем-то недоступном для окружающих.

Приветливое выражение в этих случаях задерживалось на его лице, и странно было видеть остановившийся взгляд некогда голубых глаз и забытую улыбку, обращенную ни к кому.

Вообще, я заметила, что у стариков и младенцев очень похожий взгляд.

Играет себе ребенок, перебирает игрушки, несвязно что-то лепечет, а как поднимет глаза - такая ясность и глубина взгляда, такая не з д е ш н о с т ь вдруг прорывается. Он оттуда с любопытством взирает на мир.

Старики же, участвуя в этой жизни, вдруг замирают и глядят пристально туда, в нездешность.

Одни приходят, другие уходят, и в какой-то момент проходят ворота вечности. Мне кажется, что открывающиеся двери, а, точнее, то, что они видят там, делает их похожими.

Дядя Захар был настоящим мастеровым человеком. Он был альфрейщиком высокого класса (*альфрейщик занимается росписью потолков, стен, объемных изображений или элементов – прим. ред.*).

В своей квартире, где теперь жила я, он расписал потолок почти на пятиметровой высоте. По его периметру вились бесконечные кусты роз, тянувшихся одна за другой - в нежных бутонах, пышно цветущие и увядающие.

Это был как замкнутый круг жизни - рождение, цветение, смерть - и, просыпаясь, я подолгу разглядывала эти переплетения, выписанные искусной рукой дяди Захара.

Дядя Захар нашел во мне благодарного слушателя. Рассказывал он свои истории так занимательно, что я подумывала записать кое-что. Но тогда было не до рассказов - я въезжала, они выезжали, приходилось много бегать, оформлять бесчисленные бумажки, обживаться на новом месте... Словом, было некогда.

Интересно, что дяде Захару приходилось расписывать бериевские дома.

По словам старого мастера, у Берия в Тбилиси было два дома - на улице Коргановской - со старым романтическим садом - и на Мачабели. Позже я узнала, что в самом начале своей карьеры, когда Лаврентий Павлович был еще скромным чекистом, никаких особняков у него не было. Он жил в небольшой комнатке в доме по улице Чонкадзе.

Но это было вначале. А потом Берия занимал два дома, и, хотя не всегда приезжал, строго каждый год в них обновлялся интерьер. К этому времени бывший скромный чекист стал большим человеком в Москве, но иногда наезжал в Тбилиси, откуда началось его стремительное восхождение на Олимп власти.

Дядя Захар помнил специфические подробности - например, то, что любимый цвет Лаврентия Павловича был синий. Оказывается, он любил этот цвет со всеми оттенками - от светло-голубого до темно-

синего. И весь интерьер его двух домов выдерживался именно в этих тонах.

Дядя Захар не любил Берия.

- Ни разу не поздоровается с мастерами, - говорил он. - Проходит, как будто не видит нас. Зырк-зырк глазами по сторонам, прямо сквозь тебя смотрит.

Вообще, невоспитанный человек был, - неодобрительно покачал головой дядя Захар. - Есть люди, нет людей - разденется и ходит себе по саду в сатиновых трусах.

- Что это такое? - удивилась я.

- Как что? - сказал он. - Вот такие трусы, - он ребром ладони провел по колену, - обыкновенные, из синего сатина.

Кроме этого, самого почетного заказа, дяде Захару приходилось выполнять и другие.

"...Бывает, начнем ремонтировать дом какого-нибудь важного начальника, а потом приходим - в доме беспорядок, вещи на полу валяются хозяина не видать. Стоим, не знаем - продолжать работу или сворачиваться.

А люди в форме покрикивают: "Не ваше дело, что происходит. Работайте, работайте..."

На что наш бригадир - Броучек была его фамилия, а сам он был чех... Вообще, он был ас в нашем деле, всему меня научил. Никто в Тбилиси лучше него не разбирался в европейских орнаментах. А как он их расписывал. Уф!.. Мастер!

И у него, знаете, Клара-джан, была шляпа, да он еще и галстук носил... Среди мастеровых он один так культурно одевался.

Так вот, наш Броучек вежливо так приподнимал шляпу и спрашивал: "Простите, товарищ, а платить кто будет?"

"Не беспокойся, - хохочут военные, - казна оплатит!.."

Так часто бывало - заканчивали мы работу уже в нежилом помещении. Но, правда, оплату получали сполна - грешить не буду".

Дядя Захар усаживался поудобнее в старом кожаном кресле и начинал новый рассказ.

"Работали мы как-то на Мтацминде. Вы там бывали, наверное? Значит, видели кафе? Да, правда, теперь там много чего понастроили. Но тогда это было первое кафе на фуникулере. Так вот, мы его строили.

Стены уже выложили, ребята внизу работали, я наверху, на подмостях - расписывал.

Стою себе с кистью в руках, насвистываю. Настроение хорошее. У меня всегда настроение хорошее, когда работа есть. Потому что люблю работать. Пятьдесят лет ни одного дня без дела не сидел.

Случайно вниз посмотрел и не могу понять - что происходит? Все побросали работу и разбегаются, как от бешеной собаки. Что такое? Не успел я кисть опустить, как в помещение залетела группа людей - как ветер. Все в форме, в скрипучих хромовых сапогах, в португелях, обвешаны оружием.

А в центре - Берия.

Я так и застыл на месте. А куда убежишь? Он только поднял голову, как я очутился перед ним - дюжина его молодцов быстренько скинула меня с подмостей.

Я как был с кистью, так и стою, а краска с нее - кап-кап на блестящие сапоги охранников.

Все молчат.

Берия так это прищурился - может, вспоминал, где меня видел? - и зловеще так спросил: "Строите, значит?"

Он оглядел потолок, обернулся на стены и спросил: "А что, здесь будет закрыто?"

Я стою - ни жив, ни мертв, только и смог выдавить: "Мое дело малярить. Спросите у прораба"

А он продолжал: "Это значит - здесь будут сидеть, есть, пить, говорить - и никто этого не увидит?"

Вижу, глаза у него побелели, он весь раздулся, я думал, он сейчас лопнет.

"Эта стена должна быть прозрачной!" - ткнул он в нее пальцем. Резко повернулся и вышел. Охрана за ним. И всё молча.

Я только перевел дух. Ребята набежали - что он сказал, да что он сказал. А я сказал: "Слава, тебе, господи, пронесло!"

А самое интересное, что эту стену потом так и сделали прозрачной - разобрали кладку и вставили витринное стекло. Так вот, Клара-джан!"

Мне раз захотелось посмотреть на дом, где жил Берия.

Бывшая Коргановская улица, названная так в честь царского генерала, уже была улица Киачели. Мне объяснили, что начинается она с Верийского спуска. Там еще стоит живописный фонтан - девушки в танце "самая". Есть такое восточное имя - Самая, сказала я. Мне возразили: танец называется "самая" потому, что обычно его исполняют три (по-грузински "сами") девушки.

Я без труда нашла этот фонтан. Грациозно изогнувшись в танце, девушки держали над головой большой поднос, устремив на него слепые скульптурные глаза. Из подноса должна была бить струя. Сейчас же фонтан молчал.

Это была как моментальная фотография - лукавая улыбка девушек, разлетевшиеся концы нарядных поясов, складки длинных платьев, волнами тянущиеся за танцовщицами.

На толстых косах был зеленоватый налет давно нечищенной меди.

Вокруг фонтана был разбит маленький палисадник, несколько пустынный. Правда, по углам росли две-три чахлые ели. Палисадник упирался в красный кирпичный дом.

Я огляделась - неужели это тот самый дом? И Берия гулял здесь в "сатиновских" трусах?

Сомнительно, подумалось мне. Этот дом слишком на виду, да и палисадник - это все-таки не сад. Вряд ли Лаврентий Павлович стал бы здесь разгуливать. Не такой человек.

Дом, однако, был интересный. Когда смотришь на него со стороны фонтана, он - пятиэтажный, в итальянском стиле - маленькие галерки, переплетения балкончиков, арочные окна.

Когда же поднимаешься на улицу Киачели, дом становится трехэтажным - вполне старинным и респектабельным.

Если отбросить то обстоятельство, что дом был отменно большой для одного человека, то можно предположить, что в нем жил Берия.

Я стала искать окно, откуда бы он выглядывал на улицу – таинственно и отчужденно, как высывалась из конуры наша домашняя собака по кличке Жулик - невероятно агрессивная немецкая овчарка.

Она лежала неподвижно, положив длинную морду на скрещенные лапы. И только желтые глаза ее скашивались и зорко следили за тем, что происходило во дворе.

Обманутые внешним миролюбием нередко расплачивались. Так, даже мама, спокойно подвинувшая ей миску, стала жертвой. До сих пор помню фонтан крови, брызнувший из укушенной ноги.

Так, окно. Это, скорее всего, угловое. Может, вот это, со стрельчатой аркой? Снаружи ничего не разглядеть. А изнутри, наверное, хороший обзор.

А эта балюстрада между вторым и третьим этажом? Она выступала белой площадкой, обрамленной гипсовыми перилами, которые поддерживались округлыми столбиками.

С балюстрады хорошо просматривался город на левом берегу Куры. Может, по ней ходил Берия в трусах, подставляя свое бледное тело тбилисскому солнцу?

Я обошла дом кругом. Да, вероятно, это он. А что касается романтического сада, то дядя Захар, вероятнее всего, что-то напутал.

Возле дома стояли "Жигули". Сверху было видно, как в салоне машины копошился человек.

Я спустилась по ветхой лестнице - с верхнего уровня на нижний - стараясь не оступиться в зияющие проемы, и подошла к машине.

- Вы не знаете, это тот дом, где жил Берия?

Мужчина вылез из салона задом, обернулся, окидывая меня быстрым взглядом. В руках у него был топор.

- Нет, - сказал он, усмехнувшись, это не тот дом.

У меня упало сердце - я уже свыклась с мыслью о бериевском обитании здесь.

- Может, вы знаете, где тот дом?

- Знаю, - сказал мужчина, не переставая улыбаться. У него была правильная русская речь с сухумским акцентом. - Если соизволите пройти по этой улице и будете все время смотреть направо, то, наверняка, встретите этот дом. Желтый двухэтажный особняк с садом.

Сад! Все-таки он есть!

Мужчина, так же посмеиваясь, проводил меня взглядом, потом обернулся к машине и опять занялся ею.

Я взбежала по изломанной лестнице на верхний уровень - на улицу Киачели, где третий этаж дома был как бы первым, - и быстро пошла, в волнении поглядывая вправо. Сада не было.

Я шла, рассматривая кирпичные дома, думая, какая могла быть в этих домах уютная жизнь, и чувствовала себя первооткрывателем. Волновалась я так же, как и в ленинградском студенчестве, когда искала дом Блока на Пряжке. Я всматривалась в проулки, разглядывала серые блоки цокольных этажей, как бы небрежно отесанные великанами, - такие они казались огромные, удивлялась угловатым домам, похожим на сегментные куски нарезанного торта.

Я не знала тогда, что дома строили так не по прихоти, а потому, что земля была дорога.

"Гримаса земельной ренты", - как образно сказал об этом наш преподаватель философии - огромный бородач Яковлев с гнусавым от вечного насморка голосом. Во время лекций он машинально выдергивал из кармана брюк клетчатый платок и, к моему ужасу, трубно высмаркивался в него, не прерывая своего монолога.

Когда мы опаздывали и бормотали что-то об испорченном будильнике, он, подняв указательный палец, неизменно изрекал: "Запомните, друзья: не сон - высшее благо. Познание - вот высшее благо!" После чего мы, давась смехом, юркали по местам.

Эти ассоциации бесконечны, сказала я себе, но где же этот проклятый дом?

Улица кончилась, и я увидела строение с куполом из грубо отесанных камней.

"Монастырь Лурджи, - прочитала я на чугунной табличке, - памятник архитектуры XII века". Я уже знала, что "лурджи" - это "синий" по-грузински. Но что могло быть синего в серых камнях монастыря - разве только то, что он устремлен к небу?

Открылась массивная дверь, и из темноты нутра вышли молодой мужчина и девушка. Они по-утреннему зябко передергивали плечами и, тихонько обсуждая что-то, быстро прошли мимо.

Я хотела спросить их, но не успела. Вообще, все было странно - утро, никого, таинственный монастырь.

Влекомая непонятым чувством, я толкнула деревянную дверь, обитую металлическими полосами, и оказалась внутри.

Было тихо, пусто и темно.

Мерцали редкие огоньки тоненьких свечей. В дальнем углу стояла стройная женщина, тщательно причесанная, и, как-то подобравшись, внимательно смотрела на икону.

У входа, в углу сидела служительница. Она куталась в наброшенное на плечи старое пальто и, опустив голову, перебирала сморщенными пальцами разложенные свечки. Рядом, на столе, лежало металлическое блюдо с монетами, наполовину прикрытое газетой "Заря Востока".

Я начала рассматривать иконы, невольно обходя расстеленные ковровые дорожки. В основном, это были новые, недавно выполненные изображения святых. В некоторых местах висели даже медные гравюры с изображением святого Георгия, которые совсем не воспринимались, как иконы. Перед многими на цепочках были подвешены узорчатые металлические чашечки с дрожащим огненным фитильком внутри.

Небольшие иконы, по-деревенски убранные букетиками искусственных цветов, золотые огоньки маленьких восковых свечей, ковровые дорожки создавали в каждом уголке какой-то домашний уют.

Однако этот теплый уют, такой же неустойчивый, как и пламя крошечных свечей, не мог победить холода огромного пространства и воздвигнутых вокруг грубых камней храма.

Это было как наглядное пособие - зыбкая человеческая жизнь, тихонько теплившаяся в холодной вечности.

А может, так и надо - несмотря на огромное пространство, равнодушие и холод вечности, зажигать свою лампаду жизни и поддерживать этот трепещущий огонек.

Совершив круг, я машинально взялась за ручки двери. Служительница взглянула на меня с укором - я уходила без зажженной свечки. Но у меня не было связи с небом, и было бы нечестно делать вид, что я обладаю этим каналом общения.

Так, слева мы все осмотрели. А справа?

Двухэтажный особняк завершал улицу справа. Вокруг дома был разбросан сад, спускающийся вниз. Кусты цеплялись друг за друга, как бы боясь скатиться. Голые ветви деревьев застыли в утреннем холоде, обнаженные кусты были похожи на клубки спутанной проволоки. Весной, должно быть, здесь красиво.

Дом стоял прямо над обрывом. Такое впечатление, что он сейчас взлетит.

Внизу шумела Кура, двигался утренний поток машин, похожих сверху на игрушечные, и, как муравьи, ползали крошечные люди. Дом стоял, отвернувшись от улицы, огражденный решеткой, через которую я тщетно пыталась разглядеть лицо дома.

Да, это он! В таком доме Берия мог бы жить. Правда, меня смущало соседство дома с монастырем. Как это он, в порыве атеизма, а, скорее, просто в уничтожительном порыве не приказал снести монастырь?

Да, в таком саду можно было спокойно разгуливать в трусах. Нет-нет, не ошибся дядя Захар!

Мне стало грустно, что я больше не увижу дядю Захара, и прохладная ладонь тети Сатеник больше не ляжет на мой горячий лоб, когда я, перевезя вещи из Еревана, свалилась в жесточайшей простуде, а эти добрые старики трогательно ухаживали за мной все десять дней, пока я не встала на ноги и не проводила скрипучий грузовик, забитый старыми вещами, нажитыми ими за пятьдесят лет жизни в этом городе.

Кожаное кресло было беспомощно привязано на самом верху домашних вещей - вверх ножками, топорщившимися в разные стороны, а старики, слабо махнув мне, торопливо захлопнули дверцу кабины, и

грузовик медленно поплыл по горбатой улочке начала девятнадцатого века...

...Итак, я стояла на кругу в Багеби, и ждала транспорта.

Девятого троллейбуса долго не было. Подъехал восьмой номер. Я постояла в раздумье - ждать ли девятку? Или поехать на восьмерке?

Правда, в этом случае я выйду не на Агмашенебели, а на Руставели. Но там можно пройтись по проспекту до площади Ленина, недавно переименованной в площадь Свободы, а затем, спустившись в метро, проехать две остановки, выйти на Марджанишвили, и оказаться опять же на Плехановской улице, ближе к дому, чем в случае с девяткой.

Почему бы и нет, подумала я. Сегодня я хорошо поработала и, в конце концов, заслужила прогулку по Руставели.

Я даже почувствовала нарядную толпу, блеск витрин и особый аромат праздности, который всегда витал над проспектом Руставели.

Вообще, грузины были неотделимы от праздности. Раньше я никогда не видела столько грузин вместе, и поэтому долго не могла понять, чем же они так сильно отличаются, ну, скажем, от русских?

Два-три грузина вместе - это уже праздная толпа. Причем, это праздность особого рода. Не в смысле ничегонеделания, а в смысле праздника жизни.

Каким бы важным делом они ни занимались, сначала был праздник жизни, радость бытия, а потом - все остальное.

А можно дойти до Дома правительства, а оттуда, через сад Коммунаров, который по-прежнему все звали Александровским, спуститься на Колхозную площадь и пересечь Воронцовский мост.

Можно и так, подумала я, усаживаясь у правого окна. Троллейбус заполнился всего на четверть, но я знала, что на университетской остановке в него будет не пробиться.

Троллейбус тронулся, развернулся кругом и мягко поплыл. С каждой остановкой он заполнялся все больше и больше, а я, рассеянно поглядывая на движущиеся мимо улицы и дома, не переставала думать о рассказе.

Впереди колесом катилась радость. И это был мой первый рассказ. Я видела его, это самокатящееся колесо, которое я закруглила в кольцо, замкнула и поставила в нем последнюю точку.

И теперь катилось оно впереди и радовало своей завершенностью.

Был конец рабочего дня, остановки объявлялись через одну, а я, блуждая взглядом по перегородке водительского салона, по замысловатым фигуркам, увешанным по бокам смотрового зеркала, наткнулась на пристальный взгляд в зеркале - водитель вопросительно глядел на меня. Я отвела глаза и через некоторое время увидела заинтересованный взгляд мужчины напротив.

У метро Руставели все повалили к выходу. Подчиняясь стадному чувству, я тоже потянулась за выходящими. Все равно пришлось бы сойти: дальше троллейбусы не ходили - с неделю, как в городе началось противостояние.

У переднего выхода послышалось мерное металлическое стучание - это падали в кассу монеты выходящих.

Водитель стоял у кассы и поглядывал, как монеты заполняют, и не могут заполнить ее бездонное чрево. Руки он держал в карманах брюк и небрежно опирался о перегородку. Даже в этой усталой фигуре я уловила праздность, и улыбнулась, подавая пятак.

Выразительно приподняв бровь, он неожиданно сжал мне пальцы, а я, так же улыбаясь, осторожно высвободила их.

Опять меня принимают за русскую, подумала я, сходя вниз. Интересно, когда я перестану быть своей среди чужих и чужой среди своих?

Проспект Руставели был перекрыт баррикадами. Он теперь состоял как бы из двух частей - до ИМЭЛ (Института Маркса-Энгельса-Ленина - уже бывшего), ставшего теперь штабом НДПП - народно-демократической партии Грузии, а по существу, всей оппозиции, и после него, где высились баррикады, вернее, одна баррикада - внушительных размеров труба, похожая на жерло фантастической пушки, а вокруг нее - обломки строительных конструкций.

Ее-то и снимали все хроникеры. С разных сторон она смотрелась по-разному, и зрителям казалось, что весь город заставлен баррикадами.

У здания бывшего ИМЭЛ шла своя, бивачная жизнь - под флагами и полотнищами, выстроившись в ряд, стояли раскладушки, на которых лежали голодающие. Все они были молодые, бородатые, и открыты байковыми одеялами в крупную клетку.

Нет, это противостояние, скорее, было похоже на детскую игру. По обеим сторонам баррикады собирались люди. Сначала они прохаживались, как бы не замечая друг друга. Потом внезапно начинали спорить на высоких тонах, явно распаляя себя.

Фото- и киножурналисты уже который день несли вахту. Они неторопливо расчехляли свою аппаратуру (движения их были даже вялыми), но в то же время цепко поглядывали по сторонам в ожидании острых ситуаций.

Будто хозяйка, замесившая тесто, смиренно сидит и ждет, как оно подходит, чтобы не упустить момент, когда надо будет быстро лепить пироги.

Правда, в отличие от хозяйки, тесто замесили не они. Они должны были испечь из этого теста свои пироги.

И пироги, то есть фотографии, получались отменные. Недалеко отсюда, на витрине Грузинформа, который недавно и по-русски стал называться Сакинформ, висели выразительные фотографии - оппозиционные ряды и перманентная митинговая жизнь у Дома правительства.

Страсти были схвачены точно и живо, но чем объективнее и профессиональнее были сделаны фотографии, тем в большее недоумение впадал непосвященный зритель. Где же наши, а где же враги?

На фотографиях врагов не было. Были живописные фигуры, красивые лица, одержимые решимостью отстаивать свою позицию, защищать своего лидера до конца, даже если придется пустить в ход вот этот пистолет, сжимаемый сейчас в руке. Или же автомат, любовно прижатый к молодой груди.

Да, оружия было много, очень много. Какие-то пистолеты, наганы, револьверы, автоматы, пулеметы, охотничьи ружья, сабли, кинжалы, отдающие бутафорией, короткие ножи, финка - все это небрежно поигрывалось в руках, перекидывались через плечо автоматы, крутились в руках гранаты, похожие на маленькие ананасы. Казалось, оружие прыгает от радости - наконец-то о нас вспомнили! - и нетерпения - когда же мы пойдем в ход?

Странно было видеть сочетание опасного и нежного - опасных лезвий, затворов, стволов, и нежных мальчишеских лиц, в руках которых играло оружие.

Никакой настороженности в обращении с ним не было, наоборот, глаза сияли радостью и довольством. Извечная мужская, а скорее, мальчишеская радость обладания оружием. Пришло время, и оно в руках!

И ощущения силы от этого. Силы и вседозволенности. Поскольку, все дозволяется тому, у кого сила.

Прямо возле метро стоял памятник Шота Руставели. Совсем недавно его закончили реставрировать. Пьедестал, фронтон, украшен-

ные барельефом персонажей из его поэмы "Витязь в тигровой шкуре", или, как теперь называли ее - "Витязь в барсовой шкуре", а также изящные фонтанчики (водяные струйки выплескивались из раскрытых пастей симпатичных львов) - все это было сделано из коричневого гранита. Только фигура поэта осталась нетронутой.

Поэт стоял, чуть откинувшись назад, будто плечи ему оттягивал античный плащ, застегнутый пряжкой на левом плече. Он был в высокой островерхой папахе и, выставив ногу в изящном сапожке, держал в опущенной руке свиток.

Это было классическое изображение Руставели. Великого поэта из Месхетии, добавила бы я. Поскольку последние строчки поэмы прямо говорили о его происхождении: "Месх безвестный из Рустави, кончил я свое творение..." Живи он ныне, и его бы отвергла Грузия...

Поэт держал в руке свиток со стихами и отрешенно смотрел вдоль проспекта на помпезное здание, облицованное желтым туфом, с зубчатым парапетом, венчающим его, с маленькой башенкой и шпилем.

Боже, я забыла все стили, подумала я, тщетно пытаюсь вспомнить, к какому же относится этот. А когда-то студентами мы просто забавлялись, вытаскивая наугад из толстой пачки фотографий архитектурные памятники. И безошибочно отличали барокко от модерна, а классицизм от готики.

Скорее всего, модерн, подумала я, - эклектика, стилизаторство.

Я, как и Руставели, смотрела на это здание, называемое Домом кино с торца и Академией Наук с главного фасада, и думала - куда же мне пойти. Навстречу шли люди, возвращающиеся с прогулки, с эскимо в руках. Некоторые жадно откусывали его, словно проголодавшиеся.

О, нет, мороженое - не еда. Это удовольствие, и есть его надо медленно, лакомясь. Пойду в мороженицу - вот куда я пойду!

И я даже почувствовала аромат тающего холодка во рту, обволакивающий язык и небо.

В кафе было полно народу, но у прилавка, на удивление, не было очереди. Продавщица выскребала остатки мороженого из высокого алюминиевого бочонка. Потом она вынула его из формы и унесла, держа перед собой, как экзотический барабан.

Я стояла у стойки, обитой бордовым дерматином, вертя в пальцах купюру, и рассеянно думала, хватит ли мне сдачи с пяти рублей до очередного "жалованья", как тут называют зарплату. Хотя когда это "жалованье" будут давать - тоже неизвестно. Денег в банке, говорят, нет, и вот уже второй месяц приходилось жить в долг.

Как сказал Жванецкий: "Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем". Но я работаю! И я инстинктивно прижала к себе пакет, в котором был написанный рассказ, как ребенка, которого надо оберегать.

В проеме стены показалась моя продавщица. Вместе со своей товаркой они несли большую эмалированную кастрюлю, заполненную мороженым доверху. Потом одновременно вскинули емкость на подставку. Помощница что-то сказала другой, что стояла рядом и, помешивая пластмассовой ложкой, варила кофе в обычной электрокофеварке за семь рублей. Та, не сводя глаз с поднимающейся пенки, кивнула.

Все они были в одинаковых трикотажных майках с вышитым тюльпаном на левой груди, и белых кружевных наколках, похожих на короны.

Интересно, кто им их вяжет, подумала я, и сказала: "Двести граммов с сиропом".

Продавщица вонзила в мороженое маленький половник и выложила в металлическую чашечку два желтых шарика. Весы качнулись и стали ровно на нужном делении. Не меняя озабоченного выражения лица, она сняла чашечку с весов и полила шарики розовым сиропом. Описав дугу, мороженое оказалось передо мной.

Я протянула деньги. Отсчитывая сдачу, продавщица быстро и заинтересованно взглянула на меня.

Я подхватила чашечку снизу, как пиалку, взяла кофе и, чувствуя холод и тепло одновременно, стала отыскивать свободное место.

Проходя мимо зеркальной стены, я мельком взглянула на свое отражение - что же могло заинтересовать уставшую женщину? - и наткнулась на свой сияющий взгляд. Чувство радости выплескивалось из глаз.

Вот оно что! Теперь понятно, почему по дороге на меня оглядывались. И этот милый мальчик... Хоть бы его отец был жив!..

И не нужно никаких рассуждений о "своих" и "чужих".

У витринного стекла было свободно. Я села наискосок - так была видна улица, и можно было поглядывать в зал.

Я отхлебнула из чашечки. Это было очень вкусно: горьковатая пенка и тут же вслед - ложка нежно тающего во рту мороженого. Закрыв глаза, я ощутила холодную гладкость ароматного куска.

Глоток кофе - ложка мороженого. Конечно, кофе мог быть и получше, подумала я, как, например, в Ереване, но в сочетании с мороженым его можно было бы назвать вкусным.

Более кофейного города, чем Ереван, я не видела. Запах жареного свежесмолотого кофе был неотъемлемой его частью. Везде крутили ручные мельницы, похожие на маленькие гильзы от снарядов, варили кофе в изящных медных джезве, и распивали его из крошечных чашек. И тот аромат, и густая темно-коричневая пенка нежнейшей консистенции, и почти нестерпимый по терпкости вкус - все это было пряно и своеобразно.

- У вас свободно? - спросил пожилой человек в форме полковника, и на мой кивок поставил кофе с мороженым.

Мундир очень ладно сидел на нем. Вернее было бы сказать - он врос в него, как дерево врастает корнями в землю. Судя по всему, он давно был в отставке - старый, но не дряхлый, а какой-то задубевший.

У него все было негнушимся - шея, руки, ноги, спина. Даже седые усы и брови топорщились жесткой щетиной.

Ложка с мороженым смотрелась игрушечной в его пальцах. Он сделал глоток и, не торопясь, начал есть мороженое.

В том, что он был в мундире советской армии и боевых наградах, чувствовался какой-то вызов. Хотя на него, впрочем, как и на меня, никто не обращал внимания.

Посетители никуда не торопились. Свободно раскинувшись на белых пластиковых стульях, они болтали, смотрели на улицу, курили и смеялись. Проходящие же, в свою очередь, поглядывали на сидящих в кафе, и, соблазнившись праздным видом людей за столиками с высокими коктейльными стаканами и маленькими кофейными чашками (некоторые из них были перевернуты, чтобы кофейная гуща, застыв, предсказала их судьбу), тоже заходили в кафе и, устроившись поудобнее, разглядывали толпу, праздно протекавшую мимо.

Это был бесплатный спектакль - Жизнь. И я смотрела его с жадным любопытством.

Я еще не привыкла к массовой красоте грузинских лиц и безотчетно любовалась чистым блеском глаз, нежным румянцем и безупречными очертаниями.

Эта девушка - с полотен Гудиашвили. У нее были густые золотистые волосы, спускавшиеся маленькой подстриженной челкой, которая закрывала только половину чистого лба.

Тонкие брови взлет, сияющие свежестью глаза и маленький рот, капризно изогнутый.

Лицо девушки было детским и женственным одновременно. Это сочетание наивности и чувственности всегда поражало меня в работах Гудиашвили. Я сначала узнала его картины, и только потом увидела

оригиналы. Разглядывая экзотические персонажи на глянцевых репродукциях, я удивлялась, откуда он взял такие лица.

Где-то в глубине генетического фонда у Природы была таинственная форма, и она штамповала эти лица в бесконечном множестве. Я видела их - резвые кудрявые девочки, нежные девы, состарившиеся красавицы...

Мимо промелькнули молодые люди в пятнистой военной форме. Это позже появились кизилловые береты - цвета грузинского знамени. А пока они были в кепках, на кокарде которых уже были привинчены новенькие грузинские гербы - семиконечные звезды с белым Георгием - покровителем Грузии.

Они прошли деловито и задиристо. Лица сияли молодостью и расправившей их жизненной энергией. Потом прошли назад. Это были гвардейцы зугдидского батальона - он уже отделился от Национальной гвардии Китовани и перешел на сторону Гамсахурдиа. Территория проспекта Руставели от баррикады до Дома правительства была под контролем президентских сил.

- Эта страна неисправима, - сказал кто-то рядом по-русски. Я оглянулась - русский язык становился здесь уже редкостью. На говорящего оглянулись многие. Человек лет тридцати в джинсовой куртке с пепельным ежиком волос. У ног его, как верная собака, прижавшись, стояла черная кожаная сумка. Его собеседницы - яркие молодые женщины с крупными серьгами, висящими почти до плеч, - что-то тихо говорили ему.

Да, эта страна неисправима, подумала я. Хотя бы потому, что ее не смогли обезличить. Здесь радуются жизни до конца, и что бы ни случилось, держаться будут эффектно и красиво. Как на сцене. Я засмеялась.

Полковник удивленно поднял брови, но по-прежнему смотрел через витринное стекло на улицу. Гвардейцы окружили двух парней и, пытаясь сохранять важность, что-то выясняли у них. За ними приятно было наблюдать, как за играющими детьми.

- Видите? - сказал полковник, указывая ложечкой в негнущихся пальцах на возившихся ребят. - Бездельники. Да-да, бездельники! - повысил он голос, хотя я молчала. - Они там, где надо кого-нибудь арестовать или посадить. Хуже большевиков. А сами ничего не делают, только деньги гребут. Вы знаете, какое у них жалованье? Триста рублей!.. А за что?

Он помолчал, вычерпывая таявшее мороженое и неодобрительно поглядывая на расшалившихся юнцов. Потом вздохнул: "Эх!.. Мы

воевали, честно работали. Чтобы все это увидеть?" - и посмотрел на меня, ожидая сочувствия.

Мой сияющий взгляд рассердил его. Он решительно отставил чашечку и грузно поднялся. Его форма вызывала едва скрываемое недовольство присутствующих. Но награды во всю грудь, а главное, возраст, заставили без слов расступаться перед ним. Так он и прошел через праздную публику - твердой, негнувшейся походкой военного.

Я проводила его взглядом, прислушиваясь к звенящей радости внутри. Ах, да, рассказ! - вспомнила я, и тоже встала, не в силах усидеть.

У Дома правительства шла своя особая жизнь. Разноцветные палатки, в которых уже давно жили приверженцы президента, напоминали цыганский табор. Можно было близко подойти и посмотреть на все это, как на бесконечное театральное представление.

Оружие хищно поблескивало и лихо играло в руках, как бы предчувствуя, что скоро наступит его черед.

Женщины всех мастей деловито собирали подписи под очередным протестом. Или воззванием. Вернее, женщины всех возрастов. Внешность у них как раз была одна - все они были охвачены чувством умиления и причастности к служению кумиру.

Позже, когда Дом правительства уже был оцеплен плотным кольцом транспорта, этих же женщин я видела в окошках желтых "Икарусов". Забравшись на сидения, они кричали что-то оскорбительное студентам, презрительно глядевшим на них с внешней стороны кольца. И лица у всех до одной были одинаково глумливые.

Под невысокими голубыми елями спали какие-то оборванные люди, валялись разломанные круги лаваша, пустые бутылки из-под боржоми, в толпе отрешенно бродили помешанные, бормоча что-то бессмысленное.

Дом правительства стоял, как неприступная крепость - обвешанный огромными лозунгами, полотнищами и флагами, победно развевающимися на вечернем ветру.

На днях президент провозгласил: "Нельзя уставать от митингов! Это наш метод борьбы!" - и воодушевленная толпа продолжала жить митинговым укладом.

Я вспомнила, как однажды, случайно попав сюда же, не могла выбраться - так много было людей и так плотно они стояли. Но оставаться тоже было невозможно - что-то угнетающее было в том поле. Я упорно пробиралась к краю.

Вдруг все замерли и одновременно вскинули вверх сжатые кулаки. Мгновенно наступила тишина. Я не вслушивалась в крики из мегафона и, продолжая выбираться, не сразу поняла, что это была минута молчания.

Вокруг моментально ошетинились. Если бы не минута молчания, было бы несдобровать. Я увидела зловещие взгляды, обращенные на себя.

Сейчас же никто не собирался меня избивать, но все равно атмосфера была нездоровой. Что-то здесь делалось не так. Какие-то дурные инстинкты бродили, выпущенные на свободу, и злорадно ожидали своего часа.

Мне захотелось уйти. Прочь, прочь, быстрее на свежий воздух!

Закрываясь рукой от слепящих прожекторов, установленных со всех сторон площади, я перешла улицу, и мимо Кашветской церкви спустилась в Александровский сад. Мне вслед неслись звуки речей, усиленных микрофонами.

Слева оставался музей грузинской литературы имени Георгия Леонидзе, основанный им самим, где теперь работал мой брат, и где директором была Иза Орджоникидзе.

Тогда Грузия была охвачена массовым психозом ненависти к месхам. А Марат, с большими трудностями переехавший на родину, в Ахалцихе, был изгнан оттуда с молодой женой и маленькой дочкой. Иза Орджоникидзе была тогда первой, кто протянул нам руку помощи. Она сказала - позор нам, грузинам, что человек - беженец у себя на родине. И взяла Марата на работу в музей.

И никто не тронул нас тогда - среди массы ненавидящих и злобствующих, хотя до этого в газете "Ахалгазда комунисти", что означало "Молодой коммунист", была напечатана омерзительная статья, в которой наш отец объявлялся турецким шпионом, чуть ли ни с самого рождения. А это могло быть началом полного изгнания нашей семьи из Грузии.

Мало того - Иза помогла нам опубликовать опровержение в этой же газете, а это, по тем временам, было равносильно чуду.

С некоторыми местами города у меня были свои, личные отношения. Взять хотя бы этот Александровский сад

Я стояла вот на этом пригорке, куда за руку привел меня папа. Как давно это было!.. Но и сейчас я почувствовала тепло его ладони - широкой и мягкой, в которой утопала моя рука.

Когда-то я здесь стояла и смотрела, как избивали делегацию месхов, собравшихся на прием в тогдашний ЦК. Как запикивали людей

в автобусы, чтобы вывезти за город, те отчаянно кричали, пытались отстоять право на Родину. И папа, вырвавшийся из крепкого милицейского кольца, возбужденно повторял: "Какая низость, какое коварство!.."

Папа, папа, где ты сейчас?..

В каких космических мирах витает твой бессмертный дух?

Как часто не хватает мне тебя, ласкового взгляда, твоей защиты. Навсегда в душе я осталась маленькой девочкой с портфелем, трепещущей перед новой жизнью. Мне страшно, я оглядываюсь, и вижу ободряющую папину улыбку. Широкая ладонь, касаясь обеих лопаток, мягко подталкивает меня вперед.

В трудную минуту я чувствую папину ладонь у себя на спине. Я здесь дочка, не бойся.

Как он гордился мною, и как рад был бы тому, что мы на родине. И моему успеху - первому рассказу!.. И я улыбнулась сквозь набежавшие слезы.

Вот и Воронцовский мост, дальше по Некрасова осталось подняться на Советскую улицу, которую еще никак не переименовали, и вскоре я была дома.

Не включая света, я бросила пакет на стул и подошла к окну. Лицо у меня горело. Старинная задвижка мягко повернулась. Вечерняя прохлада из широко открытого окна, в которой едва угадывался винный запах осени, вздула парусом легкий тюль.

Я глубоко вдохнула, чтобы разбавить внутри большую концентрацию радости, почти нестерпимую. Как разбавляют слишком крепкое питье.

Вниз, к Куре спускались дрожащие огоньки. Я проделала длинный путь от Багеби до дома, однако Мтацминда так же молчаливо стояла вдалеке, не сдвинувшись с места. Было тихо и таинственно, будто город знал что-то значительное.

Взяв трубку, я набрала номер.

- Шура, - сказала я с осторожностью человека, боявшегося расплескать полную чашу.

- Что случилось? - тревожно спросила она. - У тебя такой голос...

- Нет-нет, ничего, - сказала я, притупшая радость, и не выдержала:

- Сегодня я закончила свой первый рассказ.

Выйдя на веранду, я встретила Цисану с чайником в руке.

- Что творится у Дома правительства... - сказала я.

- Ужас, - сказала соседка. - Не успокоятся, пока не перебьют друг друга. На то мы и грузины. Совсем с ума сошли. - И пошла на кухню шаркающей походкой человека, который привык ко всему.

*Тбилиси,  
март 1992 г.*

## ОТКРЫТИЕ ГАЛАКТИОНА

У Шуры округлились глаза.

- Что-о-о? - только и сказала она, и закашлялась от возмущения, запахиваясь в махровый халат с синими полосами.

Я уже не рада была, что затеяла этот разговор. Пришла навестить заболевшую подругу, так и сиди, болтай о чепухе.

Но Шура была первая, кто, ничего не зная о мессах, и прочтя нашу книгу, разыскала нас - двух братьев и сестру, прорвавшихся на родину через многолетние препятствия. Мы потратили слишком много сил, чтобы прорваться сквозь линию фронта и, оказавшись в Грузии, растерянно оглядывались - где мы? Что мы?

Шура сразу безоговорочно записала нас в число своих близких друзей, носила малышам игрушки, детские книжки на грузинском языке, нам - учебники, словари, умилялась лицам детей, семейным отношениям... Словом, полюбила нас всем своим пылким сердцем, сказав однажды: "Вы, месхи, сохранили в себе больше грузинского, чем мы здесь". А потом - торжественно, словно давая какую-то клятву: "Вы еще будете читать Галактиона в оригинале..."

Собственно, поэтому я заговорила на эту тему.

На мой вопрос о грузинской поэзии Вахтанг ответил, что, взяв однажды стихи Галактиона Табидзе с твердым намерением глубоко изучить их, увидел там только статику. Простое описание природы. "Даже обидно стало". Слова эти смутили меня.

Я выросла на русской поэзии (как Вахтанг, по моему мнению, на грузинской) и мне никогда не приходило в голову взять однажды стихи Пушкина с твердым намерением глубоко изучить их. Стихи уже были частью меня.

Скорее всего, думала я, грузинский язык не был ему глубоко родным, на котором можно было почувствовать большую поэзию.

В том, что Галактион - большая поэзия, у меня не было сомнений. Хотя я вступала в грузинскую жизнь абсолютно невежественной, тем

не менее, знала, что Пастернак с любовью и трепетом переводил грузинских поэтов. Отправляя родственникам книгу своих переводов, он писал, что не знает, каковы стихи в его переводе, а в оригинале - "до слез настоящие и трогательные".

Но Шура уже оправилась. Жестом гостеприимной хозяйки она предложила начать чаепитие, которое собрал нам ее сын, и после первых глотков переспросила:

- Он так и сказал "статика"?

Я кивнула.

- Боже, - сказала она, слабо улыбаясь, - как мне жаль твоего начальника. Одно из двух: или он не знает грузинского языка, или ни черта не понимает в поэзии.

Я вспомнила, с каким наслаждением цитировал Вахтанг цветаевские строки.

- Скорее, первое, - сказала я.

- Галактион - это сердце грузинской поэзии, - назидательно сказала Шура.

Я молча прихлебывала из чашки. Может, в Грузии и умеют выращивать чай, отметила я про себя, но никак не заваривать.

- Галактион - это quintэссенция грузинского духа, - повыше нотой продолжала Шура. - Это идеальное выражение грузинского мироощущения.

Я слушала с праздным любопытством. Алычовое варенье было с кислинкой, прозрачное и очень вкусное. Но чай никуда не годился.

- Нет, не то, - оборвала она себя и отодвинула чашку.

Потом потянулась к стопке книг на стуле. Обложка толстого тома сверху как-то беспомощно свешивалась открытой частью. Шура взяла книгу, открыла где-то наугад.

- Послушай, - сказала она, и прочитала два четверостишия по-грузински. Мелодия стиха была напевной, но вместе с тем и чеканной.

- Вообще, поэзия непереводаима, - сказала Шура, - но я попробую.

И, водя по строчкам пальцем, стала переводить.

"Канул март в порывах ветра. Облачившись в белые одежды, я выйду в ветер - как Моцарт, наполненный легкими волнами звуков".

Внутри у меня что-то дрогнуло. Я увидела весенний день и юношу с взлохмаченными ветром волосами. Он сам был, как ветер, и несся вперед - легкий и веселый. Действительно, как Моцарт.

- Это что, простое описание природы? - иронично спросила Шура и стала читать дальше. Она тщательно подбирала слова, потом беспомощно опустила книгу на одеяло.

- Как жаль, что ты еще не знаешь языка. Невозможно перевести.

Но я все-таки увидела майский восход солнца, который пламенел, как неизвестный мне цветок замбахи. И эта красота, говорит поэт, примирила меня с мыслью о смерти.

- Или вот. "Вечер лежал в бархатном переплете, как старинная синяя книга..."

А вот еще. Поэт вспоминает родные места, две липы у тропинки. Он говорит о дорогих ему могилах вот какими словами: "там лежит пепел сердец, переживших гнет печали и страха..."

Я слушала с возрастающим вниманием - сквозь неумело подобранные слова все-таки пробивалось обаяние поэзии.

Шура посмотрела на год написания стихотворения - где про ветер и Моцарта - 1915-й.

- Ему было двадцать четыре года. - Она улыбнулась. - И он был влюблен в это время. Хотя, - поправила она себя, - Галактион был слишком поэт, чтобы сконцентрировать любовь на единственном объекте, пусть даже таком обворожительном, как женщина.

Шио - сын Шуры - высокий, нескладный юноша, принесший нам чашки и варенье, подливал кипяток из горячего чайника. Он меланхолично молчал, думая о чем-то своем. Выходя из комнаты, он нерешительно остановился с чайником в руках, бросая взгляды на мать, и колебался - идти ему на кухню или остаться слушать. Я видела, как губы его тронула легкая улыбка. Потом он все-таки отставил чайник, взял стул спинкой вперед и уселся, опершись на нее локтями.

И слушал, уже не отрываясь. Я видела, как он невольно любовался матерью, и по мере того, как Шура читала стихи, пасмурное лицо его как бы разглаживалось и светлело.

- В кого же Галактион был влюблен? - спросила я нетерпеливо. История эта начинала интересовать меня.

- В Ольгу Окуджаву, - сказала Шура, - "Олол", как звал ее Галактион. Кстати, - она оживилась, - Ольга - родная тетка Булата Окуджавы.

Этим она как бы бросала мне спасательный круг знакомой информации.

- Они встретились в Кутаиси, где учился Галактион, и куда Окуджавы переехали из Мингрелии. Эта семья была известна социал-демократическими настроениями, была очень открыта общению и притягательна для молодых людей.

- И что было потом?

- Потом они поженились. Хотя семья Ольги была против этого брака. Тем более, Галактиону негде даже было жить - Окуджавы его так и прозвали - "уличный мальчик".

После советизации Грузии почти все члены этой семьи имели высокие посты. И Олол тоже - она вечно была занята - много разъезжала по своим наркомовским делам, а Галактион в своих шуточных стихах жаловался на ее постоянные отлучки.

В тридцатых годах они все были на больших постах. Это потом их репрессировали.

- И Олол тоже?

- Да. Она так и умерла в ссылке. В самом последнем письме она писала Галактиону, что перечитывает Гоголя, и это единственное, что ее утешает.

Галактион не писал ей. Почему? Шура неопределенно пожимает плечами. Потом опустил, стал уличным бродягой. Почему? Шура горестно вздыхает.

Сплошные тайны, подумала я. Мне очень хотелось раскрыть хотя бы некоторые из них, но я касалась только тонкого покрывала, которым эти тайны были окутаны.

Шура торопливо листает страницы - она проводник по этой жизни, и от соприкосновения к ней, мы обе невольно волновались. Она уже просто читала стихи - не переводя, глаза ее сияли.

Фотография. Молодой человек. Статность фигуры дореволюционная, независимая. Живые глаза. Безупречно прямой нос. И самое примечательное - губы. Нижняя будто поджата. Такие губы бывают у обиженного ребенка. Хотелось приласкать его.

Шура согласно кивнула: "Это был ребенок до конца своей жизни. Он ходил по этим улицам и писал гениальные стихи".

Она продолжила свой рассказ. Это была устная диссертация о жизни и творчестве Галактиона Табидзе.

Я видела, как мальчишки улюлюкают вслед странному бородачу, как старый опустившийся человек пьет жадными глотками водку за селедочной бочкой, приспособленной местными оборванцами под закусочный стол.

А жители этого, Шурино дома, спрашивая друг друга: "Пришел сегодня?" - бегом спускаются на первый этаж - в гастроном - поглядеть на Галактиона.

Поэт же свободен от всего.

Он раздирает селедку грязными руками и пьяными глазами смотрит в одни ему ведомые дали.

А потом в толпе за гробом я вижу косички девятиклассницы Шуры. И нет пренебрежения к пьянице, выбросившемуся из окна клиники, а есть какое-то оцепенение в толпе.

И постепенно, как строительные леса отпадают от готового здания, и оно во всем великолепии предстает перед удивленным взором, так и от Галактиона отпадают ненужные подробности, и остается главное - Поэт.

Шио, подперев нежную щеку, задумчиво смотрел в окно. За окном лежал вечер. "Как старинная синяя книга".

Шура отхлебнула холодный чай и произнесла: "А вы говорите "статика"..."

## ТАЙНА

-У каждого народа есть своя тайна, - сказал Вахтанг. Она объединяет, в этом его сила. А какая тайна у месхов?

Он так и сказал: "тайна", и откинувшись в кресле, выжидательно поднял брови. У него была эта манера - задавать неожиданные вопросы в лоб.

"Почему у всех грузин глаза навывкате?" - подумала я, разглядывая своего собеседника.

Издаലെка Вахтанг безлико-серый, как и все служители партаппарата. Но когда сидишь напротив, то замечаешь, что не так уж сер этот партийный слуга.

Глаза у Вахтанга зеленоватые, но когда он оживлялся, глаза темнели и в них поблескивали карие искры.

Чистая линия овального лица, которую хотелось медленно обвести пальцем. Насмешливый взгляд никому не позволил бы это сделать.

Красиво очерченный рот с длинными губами - по ним быстро пробегала всезнающая улыбка авгура.

И - рост! Высокий рост его как будто был создан для победной уверенности.

"Как точно система выбирает себе слуг", - подумала я.

Вахтангу идет сидеть в кресле за полированным столом с телефонами, элегантно прохаживаться по устланным коврами светлым коридорам ЦК, поражать посетителей изысканностью манер, ледяной вежливостью и мгновенной реакцией на происходящее.

Эти мраморные колонны, сверкающие янтарные полы, бесшумные лифты, моментально возносившие пассажиров на нужную высоту, а при надобности и вниз, в буфет, да, даже подвальный буфет, скрытый от посторонних глаз, где кормили, как в ресторане, и элитарная публика понимающе переглядывалась при виде нежно-розовой ветчины, нарезанной тонкими пластинами, желтого ноздреватого сыра, разложенного аппетитным веером, темно-бурого, с прожилками заливного языка, подчеркивающего вкусную белизну соседнего судака, и сверкающих горлышек бутылочной батареи с лучшими водами Лагидзе, боржоми и пивом, - все это было неразделимо с Вахтангом.

И как точно выбран другой слуга - внизу, у входной двери. Громила, подозрительно вглядывающийся во всех - настоящий прол, годный разве только открывать и закрывать массивную дверь партийной власти.

Это был как социальный разрез иерархической лестницы. Внизу - уродливое лицо служителя, наверху - изящный умный Вахтанг.

Правда, один раз я увидела на вахте никуда не спешащего интеллигента. Вахтанг поздоровался с ним, как с равным, из своего круга, перекинулся парой фраз.

- Не повезло человеку, - пояснил он.

Оказалось, что в свое время, когда "Покаяние" Тенгиза Абуладзе был еще запрещенным фильмом, этот бывший интеллигент тайно крутил его в каких-то подпольных залах для своих друзей и знакомых.

Теперь вот сидит здесь.

- Удивительно, что еще приняли сюда, - сказал Вахтанг, - он долго не мог никуда устроиться. И все-таки родная партия выручила. А вы всё недовольны! - неожиданно фыркнул он.

Да уж, грех жаловаться на партию, подумала я тогда.

Партийная власть давно уже предчувствовала начало конца, и напоследок старалась ухватиться за хорошие дела, полагая, что этим можно спастись.

Телефонное право в те дни сработало и подтолкнуло наши застопорившиеся дела. Марат уже был в Ахалцихе. И я, дочь, так сказать, репрессированного народа, родившаяся в Средней Азии в забытой Богом станции Красногвардейская, и намотавшаяся, как и все мои соплеменники, по городам и весям великого Союза, уже тоже жила

на родине, работала в университете и ходила сюда помогать, встречая время от времени в лабиринтах ЦК своих покровителей.

Они все ласково улыбаются мне - приятно видеть человека, который олицетворяет твои добрые дела.

Я в таких случаях торопливо здороваюсь и пытаюсь связать в целые предложения известные мне грузинские слова, чем привожу их в еще больший восторг. О серьезном изучении грузинского языка в те дни не могло быть и речи - для этого нужны были ясность ума и спокойствие души, а ни того, ни другого у меня не было. Я находилась в состоянии бегуна на длинной дистанции, который, выложившись в беге, упал без сознания на финише.

Нет, не зря мы помогли ей, думают они, с умилением глядя на меня (тем более, это было нетрудно!), она скоро станет настоящей грузинкой, совсем своя. И такая "симпатиური"!..

Я при этом молча улыбаюсь, стараясь не выпускать улыбку из почтительных рамок.

А папа... Папа этого не знает. Он уже пять лет лежит в чужой земле.

Мои покровители, приобнимая меня за плечи, говорят Вахтангу: "Смотри, не обижай ее - это наш человек!" На что Вахтанг, бросая ревнивые взгляды, бормочет: "Ее, пожалуй, обидишь..."

Когда он впервые привел меня в эти партийные хоромы, то с интересом ожидал, какое впечатление произведет на меня весь этот антураж.

Он стремительно шел по коридорам. Потом, внезапно остановившись перед каким-то кабинетом, понизил голос и значительно сообщил - мы идем к такому-то. Его зовут так-то. Не перепутайте. И ввел меня в кабинет, как в тронный зал правителя.

Мне тогда стало смешно - эти всевозможные ЦК исхожены нашим народом, папой, нами - десятками и сотни раз. И привычно неприязненны, как стена, не пускающая нас к себе, на родину.

А тот, кого торжественно представил мне Вахтанг, - тот вообще был низшим звеном в партийной иерархии, как исполнитель высшей партийной воли, определившей мою грузинскую судьбу. Когда меня представили высшему звену, тот, перебирая возможности моей будущей работы, давал указания исполнителю.

И этот исполнитель сидел сейчас передо мной.

Мне стало жаль Вахтанга - я испортила ему спектакль. Он ждал трепета, я же улыбалась, как бы извиняясь за своих высоких покрови-

телей. Тем не менее, обещая взглядом, что, несмотря на это, работать буду прилежно.

Хозяин кабинета тоже улыбался, правда, несколько ошарашено, и развел руками, как бы приглашая вместе позабавиться над неожиданной ситуацией.

И только Вахтанг растерянно переводил взгляд с меня на него.

Позже я поняла, что все-таки была несправедлива к Вахтангу. Это был образованный человек с острым умом.

Постукивая длинным пальцем по стопке журналов, где была напечатана моя первая, и единственная пока вещь "Мы - месхи", наделавшая в Грузии немало шума, он, как всегда, неожиданно констатировал: "Мне кажется, отец для вас был больше, чем отец. Он был столп, поддерживающий вашу жизнь - вашей семьи и вашего народа".

Он сказал "столп", а не "столб". Это была краткая и точная характеристика.

А между тем, он задумчиво продолжал: "Все говорят об исторической справедливости. История не может быть справедливой или несправедливой. История это то, что происходит. И какая она есть, такая и есть".

И, метнув быстрый взгляд - не обиделась ли я? - мягко улыбнулся: "Но это совсем не значит, что месхи не должны жить в Месхети".

От Вахтанга я узнавала множество разных историй, легенд, светские новости, которые, извиваясь, как шлейф, тянулись из кабинета в кабинет. Из этих осколков в голове складывалась причудливая мозаика грузинской жизни.

Однажды он назвал скупцом Константине Гамсахурдиа - известного в Грузии писателя. "Можете представить, в его родной деревне не было школы, а этот богач, - с презрением сказал Вахтанг, - не выложил для этого ни копейки! Это при его-то возможностях!"

С удивлением я услышала как-то, что он цитирует Пастернака. На мой вопрос, что для него в поэзии важнее всего, ответил: "Движение. Эстафета, которую поэт несет дальше". И, помолчав, добавил, как всегда, неожиданно: "У меня дядя очень любил Пастернака. Они, кстати, переписывались..." И рассказал историю, как дядя его, крупный специалист по энергетике, работал в 50-х годах в Южной Африке, полюбил там иностранку, а позже ему сообщили, что она - разведчик, подосланная обольстить его в целях промышленного шпионажа. И как дядя, не вынеся этого потрясения, застрелился. "Хотя,

- в раздумье сказал Вахтанг, - может, для того и сказали, чтобы застрелился - кто в те годы мог безнаказанно иметь роман с иностранкой?"

Его рассказы, равно, как и его рассуждения, я слушала с интересом. Правда, иногда он забывался, и тогда из него выглядывал лихой тбилисский парнишка. Он мог внезапно присвистнуть, щегольнуть городским жаргоном, разом спрыгнуть через десяток мраморных ступеней.

Однажды, когда мы, обложившись старыми пыльными подшивками, выискивали какие-то данные для очередной бумаги, Вахтанг, подняв голову, вдруг прыснул со смеху. "Газетные черви", - сказал он на мой удивленный взгляд, и опять неудержимо засмеялся.

Но природная живость уже была отполирована, и я не раз замечала, как вспыхнувшие глаза с усилием гасятся, а в прищуренном взгляде появляется многозначительная улыбка посвященного. Система выхолащивала.

Это чувство посвященного он всячески подчеркивал. Когда толпы митингующих уже осаждали новое здание ЦК партии, Вахтанг провел меня по внутреннему садику, напоминавшему облагороженные тропики: толстые мохнатые пальмы покачивали растопыренными лапами, нарядные лианы были развешаны, как зеленый серпантин на карнавале, а в глубине буйной зелени струился помпезный фонтан.

"Ну, как вам садик Лаврентия Павловича?" - многозначительно спросил Вахтанг, вышагивая по хрустящей дорожке.

Этот миниатюрный оазис примыкал к старому зданию ЦК компартии Грузии, где некогда правил Берия, и был заложен лично им. Говорят, Лаврентий Павлович любил гулять здесь. Тогда вход сюда был запрещен, как, впрочем, и сейчас. Толпа бушевала за чугунной оградой, а по бериевскому садику, как и прежде, проходили только посвященные.

Итак, герой моего рассказа поднимался на своих длинных ногах по лестнице социального благополучия.

Позже я поняла - он все-таки не был в полном смысле слугой. Он поднимался по лестнице, легко преодолевая ступени. Его веселил сам процесс восхождения - и я так могу! Я - не министерский сынок, и не чей-нибудь протеже, а простой тбилисский парень с головой на плечах.

Он близоруко всматривался в холеных коллег, сидящих в пухлых креслах и жмурящихся от удовольствия. Он вглядывался в них, и видел, что намного умнее, образованнее, выше их.

И это веселило его, и он стремился выше, выше, чтобы разгадать тайну партийной власти, взглянуть - а там, наверху, кто сидит? А на самом-самом верху?

Он искал эту тайну везде - в каждом кабинете, в незначительных репликах, в любой официальной бумаге - он читал эти бумаги с жадностью детектива, ищущего истину.

Он дотошно изучал и меня, как причастную к этой тайне. Он не мог понять, кто я, и каким образом очутилась в этих тайниках - в стране, где, по его словам, стартовые возможности неодинаковы, и, тем не менее, с удовольствием подтекстом констатировал, что он-то, в отличие от других, смог преодолеть это неравенство.

Оттого и задавал вопросы в лоб, пристально глядя на меня настроженными глазами охотника.

Он всегда был начеку - с обостренным слухом и зрением, машинально поправляя очки, как воин, не задумываясь, вскидывает оружие, когда появляетсястораживающий объект.

Даже когда все вокруг рушилось, все испуганно втягивали голову и искали надежную крышу, а ему предложили партийный пост повыше, он согласился - тайна приближалась, и скоро, скоро он узнает - что же там? И позже я видела, как удовлетворенная улыбка пробегала по его длинным губам - там, наверху, все то же убожество...

А когда партия с ее властью растаяла, растворилась, словно их никогда и не было, то более веселого человека в те дни, чем этот партийный функционер, я не видела - для него тайны уже не существовало.

Добравшись до партийных высот, он уже знал: за ширмой волшебника стояли серость, убожество и чинопочитание.

И больше ничего.

А сейчас Вахтанг сидел передо мной. Видя, как его разглядываю, он покрутился в кресле и нетерпеливо переспросил: "Так в чем же тайна месхов?"

"Вы думаете, я открою ее вам?" - сказала я первое, что пришло на ум.